

Владимир МИНЕНКО

## Начальные записи к повести о Кире

**От редакции.** Этот фрагмент неоконченной повести найден среди рукописей замечательного художника и литератора. Владимир Миненко недавно ушел из жизни...



Мои личные воспоминания о киностудии сводятся к тому, что у цеха комбинированных съемок, куда я пришел наниматься титровиком, я увидел отработанные макеты Робинзона судна: один, поменьше, — в полный вид, а другой, покрупнее, — лишь носовая часть. Выделанные довольно грубо, с неумело вязанным такелажем, — в расчете, что на отечественной "Свеме" все замылится.

Трудоустройство мое тогда не состоялось, поскольку подскочивший помреж (снимался многосерийный телефильм "Волны Черного моря" по Катаеву) увлек меня в массовку, на съемки эпизода, — во мне ему глянулся образ одесского купчика. Я плюнул на все — будто передо мной открылась карьера киноактера. Меня переодели в клетчатый пиджак (без под-

кладки), дали жесткую шляпу-котелок и трость и отвезли на Польский спуск, где я должен был под руку с двумя дамами спускаться по лестнице. Уже выставили свет, уже сделали пробную проходку, но повалил снег — и съемки отменили.

И нельзя было даже представить себе, что вокруг невидимо для меня двигались тогда, словно создавая сюжеты, герои наших будущих повестей — Милочка (она была помрежем на говорухинском "Робинзоне"), Василий (мне бы взглянуть на торец админкорпуса, чтоб увидеть, как он поливает комнатные огурцы на подоконнике сценарной мастерской), Людмила (она могла бы торопливо проходить — крупная уверенная в себе женщина — по дорожке от дирекции к ЦОПу). И только Киру я не могу себе представить — разве что как нахохлившегося воробышка (подобно Эдит Пиаф) в колючей зелени сосен у особняка Сан-Дonato...

Как-то, увидав ее фотографию — с бракованного, по сути, замусоренного негатива, сделанную, должно быть, мимоходом, среди студийных насаждений, когда была она без работы, всеми отвергнутая, — на ум пришло сравнение с Мариной Цветаевой, — такая безысходность лежала на ее скуластом лице, читалась в этой небрежно обрамленной короткой кукольной стрижкой голове, а главное — в ее платье, клетчатом, истрепанном (том самом, кажется, в котором она снималась еще в "Коротких встречах", вместе с Высоцким), старом, ставшим кухонным платье. Так и Цветаева, наверно (на редких снимках поздней поры — тоже часто в клетчатом, "шотландском"), бесприютная, неухоженная, варя невкусные семейные борщи на чужих провонявших кухнях, отсутствующе сыпля соль в закипающее постное варево, думала о другом, — великая в истинном предназначении и неумелая, вызывавшая раздражение окружающих, нелепая в бытовом аду (как и другая Сафо русской поэзии — вечная гостья, странница с патрицианским профилем, скитавшаяся по чужим углам, знавшая, "из какого сора растут стихи, не ведая стыда", и умершая в зале ожидания аэровокзала).

Какова же идея, о чем хотелось сказать в "Кире"?

Только ли о поздней славе, когда уже не разбирают — шедевр ты создаешь или вытираешь кисть о полу рабочего халата, или играешь, переигрываешь то, чего не случилось с тобой в годы "регламентированного творческого процесса"? Когда тебя боготворят уже не за то, что ты делаешь, как ты делаешь, но лишь потому, что ты есть, существуешь, присутствуешь, и за твоей сутулой уже спиной скрывается некая изначальная мистическая тайна, и что закрываешь ты собой другой силуэт — величественный, страшный, который им самим увидеть смертельно,

не дозволено, — он только выбивается огненными языками, как солнце в час затмения, заслоняемый тобою, и одновременно, благодаря тебе, прорисовывающийся.

Ты сам не в силах уже понять: действительно ли каждый твой шаг, кунштюк "гениалны", и любая почеркушка достойна славы и музейного места. Лишь знаешь, что овладела тобой великая простота, дальше которой нет ничего, кроме полной немоты. Но нет ли и здесь твоего наивного удивления, как перед зеркалом: ужели все так на самом деле, и достойны ли такого восхищения вещи, с твоей точки зрения простые и само собой разумеющиеся?..

"Возраст судьбы" — так можно было бы назвать повесть о Кире — "Кира Муратова: возраст судьбы". Это тот переломный период в жизни человека, когда решается, состоится он или нет, осуществит он свое предназначение или пойдет на поводу у ничемных обстоятельств "жизни", такой же, как у всех, ординарной, с ее маленькими успехами и радостями, никак, в общем, не влияющими на "ход времени". Или вдруг почувствует, что нужно все изменить, или, наоборот, не менять ничего, не меняться в угоду обстоятельствам, поломать свою жизнь, отказаться от ясных обеспеченных перспектив, просто потому что так хочется, — из простого предчувствия, из неумения делать как все, из-за своих собственных особенностей прочтения рабочего материала, перед той пустотой, которая тебя ожидает, — когда вспорхнешь и полетишь вниз, не зная, раскроются ли крылья, удержат ли они тебя в полете, вынесут ли. Но не сделав этой смертельной попытки, так и останешься на птичьем дворе, при мелких куриных интересах.

Судьба — это не то, что предначертано, это то — что ты сам выбираешь.

И выглядеть это может очень буднично, достаточно сказать: я по-другому не умею, — или ничего не говорить и писать никому не нужный сценарий, годами ждать постановки, перебиваться с хлеба на квас, ходить в застиранном платье, соглашаться работать даже уборщицей — лишь бы на студии, и все это время хранить в себе что-то, проделывать какую-то внутреннюю работу и ни на что не надеяться, ни о чем не сожалеть, — ведь решение принято, и ты летишь в пропасть, и не знаешь, раскроются ли крылья.

Приходит пора, когда вдруг начинаешь чувствовать себя наравне с гением, — ты понимаешь его замысел, тебе видны его мотивы, ты стоишь вровень с ним, и он твой собеседник. Ты можешь делать на полях его книг пометки, словно обращаясь к нему самому, можешь пользоваться текстом как материалом, даже переписать по-своему, — вы принадлежны одному цеху, и ты имеешь право.

Тебе позволительно ироничное прочтение чеховского рассказа, и ему незачем прикрываться помпезными академическими переплетами — ему и самому казалось, что он перерос свои рассказы, и будучи по сути человеком совсем иного роста, чем его представляют, глядя на уменьшенные для книг портреты, где он, в докторском пенсне на муаровой тесемке, со стетоскопом на письменном столе, представляется в образе лекаря, призванного излечить смертельные болезни общества. Он виделся себе наверняка иначе — в роли драматурга (к сожалению, ибсеновского толка), затевающим сценическое действие, не уступающее творению... Ты можешь подхватить эту демонстрацию, можешь мистифицировать рассказ, лишив социально обличительной окраски, перевести в зрелищный ряд, представить как маскарад, со свинными харями, как вечное бахтинское Средневековье, где нет ни добра, ни зла, где перемещаются "верх" и "низ"; представить как "Капричос" — отвращающие, "нутряные" образы человеческого сознания, когда сон разума порождает чудовищ...

